В. В. Боярченков

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ О РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ В ЭПОХУ «ВЕЛИКИХ РЕФОРМ»

Работа представлена кафедрой истории и культуры Рязанского государственного радиотехнического университета

Автор рассматривает историографические взгляды известного русского поэта и критика А. А. Григорьева. Проведенный анализ демонстрирует, что в годы «великих реформ» Григорьев, исходя из своих романтических убеждений, критиковал «Историю России» С. М. Соловьева за содержавшуюся в ней «формулу централизации» и провозглашал рождение новой «школы федералистов», к которой относил Н. И. Костомарова, П. В. Павлова, А. П. Щапова и некоторых других представителей молодого поколения русских историков.

Ключевые слова: *российская историография, А. А. Григорьев, эпоха «великих реформ», школа федералистов.*

V. Boyarchenkov

APOLLON GRIGORIEV'S IDEAS ABOUT RUSSIAN HISTORIOGRAPHY DURING THE GREAT REFORMS ERA

The author investigates the historiographic views of a famous Russian poet and critic A. A. Grigoriev. The analysis shows that, according to his own romantic beliefs, Grigoriev criticised S. M. Soloviev's "History of Russia" for its "centralisation formula" during the Great Reforms Era and proclaimed the birth of a new "school of federalists", which he composed of N. I. Kostomarov, P. V. Pavlov, A. P. Shchapov and some other representatives of the younger generation of Russian historians.

Key words: *Russian historiography, A. A. Grigoriev, Great Reforms Era, school of federalists.*

Исторические взгляды известного отечественного литератора А. А. Григорьева, рассеянные по многочисленным его статьям и рецензиям, еще нуждаются в изучении. У литературоведов и у историков исторической науки до них, как правило, просто «не доходят руки». Одни, в силу своей специализации, сосредоточивают усилия на изучении

литературно-критического и поэтического наследия Григорьева [2, с. 50–51; 21, s. 53–67], для других извинением служит тот факт, что он никогда не был профессиональным историком.

Так или иначе, вплоть до настоящего времени предметом историографического анализа стала лишь одна статья Григорьева – «Взгляд на “Историю России”, соч. С. Соловьева», опубликованная в первом номере редактируемого им «Русского слова» за 1859 г. [16, с. 49–54; 17, с. 222–241; 18, с. 139]. Разбор монументального труда Соловьева представал в виде единичного, можно сказать, случайного факта обращения критика и поэта к проблемам современной ему исторической литературы, а пристальное внимание Аполлона Григорьева к развитию русской историографии, отразившееся в последующих его публикациях вообще осталось незамеченным исследователями. Между тем привлечение этих позднейших материалов не только позволяет увидеть в развитии зафиксированные исследователями историографические воззрения Григорьева, но и ознакомиться с любопытной (хотя бы потому, что ее автор не был обременен претензиями историка-профессионала) характеристикой ситуации, сложившейся в российской исторической науке в годы «великих реформ». Также нуждаются в прояснении и мотивы, побуждавшие литератора время от времени заниматься историографическими изысканиями наряду с более привычными для него проблемами художественной литературы. Восполнить эти пробелы в исследованиях, посвященных Аполлону Григорьеву, и призвана настоящая работа.

Значение историографических оценок критика может быть правильно понято лишь с учетом всего его исторического мировоззрения, которое мы и попытаемся реконструировать в самых общих чертах.

Интерес Григорьева к историографии находит свое объяснение в его концепции литературы, сложившейся к концу 1850-х гг., согласно которой «история вообще стоит некоторым образом на грани между наукою и художеством, и в лучших своих выражениях прямо переходит в область последнего». Помимо ума и критической проницательности, историк нуждается, как считает критик, в «чисто художественной способности видеть в минувшем жизнь и передавать ее с ее запахом и цветом» [7, с. 93]. В этом последнем требовании, предъявляемом Григорьевым к историку, нельзя не узнать отголоска той «органической критики», разработкой принципов которой он занимался в эти годы.

Этот свой литературоведческий подход сам он был склонен противопоставлять приемам «исторической критики», впервые введенным в обиход В. Г. Белинским. Как это ни покажется странным на первый взгляд, одной из главных причин недовольства Григорьева этой критической системой Белинского стал именно недостаток «историзма», изначально присущий ей и все больше проявляющийся в работах преемников создателя «исторической критики». Полемизируя с этими последними, А. А. Григорьев утверждает: «Мышление, наука, искусство, национальности, история – вовсе не ступени какого-то прогресса, …а вечная, органическая работа вечных же сил, присущих ему как организму». Гегельянский логицизм, лежащий в основании «исторической критики», он находит односторонним: «…органический взгляд признает за свою исходную точку творческие, непосредственные, природные, жизненные силы; иными словами, …ум и логические его требования – *плюс* жизнь и ее органические проявления» [2, с. 152, 149]. В свете этих высказываний становится понятно, почему *местность*, один из исходных терминов «органической критики», трактуется Григорьевым подчеркнуто исторически: «Местность – принято мною не в смысле материальной природы, но в смысле территории, с которою сжилось известное племя, известная раса» [10, с. 13].

Интерес к вопросам отечественной истории критик обнаруживал еще до начала «великих реформ», во времена «молодой редакции» «Москвитянина». В 1854 г. Григорьев написал для этого журнала рецензию на монографию П. Медовикова «Историческое значение царствования Алексея Михайловича», и это отнюдь не был плод литературной

поденщины: критик взялся за эту работу по собственному почину, даже не будучи уверен, что она будет опубликована. Помимо тщательно проведенного анализа исследования Медовикова, критик высказывает здесь и свои, вполне самостоятельные, иногда довольно любопытные соображения по историческим вопросам. Так, рецензируемому автору и не ему одному он предлагал «историю… преобразований вести не с Петра, а взять гораздо повыше», призывал к осторожности в работе со сказаниями иностранцев [8, с. 87–89, 97]. В 1855 г. Григорьев настаивал на собственном участии в просмотре всех критических статей о сочинениях по русской истории и быту, которые поступали в редакцию «Москвитянина»; успешно выдержал он экзамен на должность учителя истории в штабе военно-учебных заведений [1, с. 139, 141, 146]. Был знаком критик и с актами, издававшимися Археографической комиссией [12, с. 24]. Стоит ли говорить о добротной университетской подготовке, которую он имел за своими плечами, о его долгом общении с Погодиным, Соловьевым, Беляевым, о хорошем знании Григорьевым исторических трудов современников, которое обнаруживают его многочисленные отсылки к ним. Учитывая все эти лежащие на самой поверхности свидетельства его устойчивого интереса к русской истории, едва ли можно в дилетантизме Григорьева усматривать основание для пренебрежительной оценки его исторического наследия.

Так, вне всякого сомнения, Григорьев был самостоятелен, когда, будучи в начале 1859 г. редактором «Русского слова», отстаивал значение «местных элементов» в русской исторической жизни. В первом же, январском номере этого журнала, в статье «Взгляд на “Историю России…”, соч. С. Соловьева», он выступил прежде всего против той «формулы централизации», которая, по его мнению, составляет ядро концепции автора рассматриваемого труда и в то же время губит его талант как историка. С неподдельным возмущением говорит критик о первой главе соловьевского труда, посвященной влиянию природы на историческое развитие России: «Так много значения придавать географическим очертаниям и вместе с тем так мало придавать значения племенным различиям, можно только с условною, заранее поставленною теориею». Вся эта глава «писана по карте, без истинного и живого знания местностей», убежден Григорьев [4, с. 32, 35]. Сам он первоочередной задачей, стоящей перед историком России, считает определение «черт различных народностей славянских, различных подразделений или ветвей нашей русской народности». Летописные характеристики различных племен, несущие на себе печать их взаимной вражды, критик, в отличие от Соловьева, отказывается признавать достоянием только истории: «… отмеченный таким образом характер того или другого племени может быть на практике поверяем еще и доселе, стало быть уцелел, мог и должен был уцелеть» [4, с. 13–14].

Но главный протест Григорьева против рассматриваемой «формулы централизации» вызывает то, что Соловьев со своими единомышленниками все негосударственное в русской истории трактует как проявление однообразного, доисторического и противообщественного родового быта. С самой характеристикой этого быта критик согласен, но он убежден, что, по крайней мере, начиная с XII в., следует говорить не о родовом, а о племенном быте. Этот последний же есть «быт стихий однородных, но разновидных», причем каждая из них «выстаивает» свою особенность до «известной степени густоты и яркости». С течением времени взаимные столкновения и слияния этих стихий приводят к образованию их естественного центра. Таким образом, Григорьев не является противником централизации в принципе, но весь вопрос о ее историческом смысле он переносит в другую плоскость. Ему важно знать, возник ли этот центр общей жизни сам, «внутренно», и тогда «все стихии уцелели и каждая получила определенное место, и если не краску, то известный отлив в общей картине», или этот центр «наложен извне», и тогда стихии придавливаются им, начинается кровавая борьба [4, с. 9–11, 13, 35].

В XII – первой четверти XIII в., по наблюдениям критика, происходит мучительный процесс выработки стихиями собственного центра «из себя и для себя». В основе этого процесса лежал киевский, или, что то же, новгородский «наряд» («наряд» в григорьевской трактовке означает «общественно-нравственный идеал»). Судьба этого киевско-новгородского «наряда», как полагал Григорьев, была трагична. Лучшие силы его пали в годы татарского нашествия, а последний яркий представитель, Мстислав Мстиславич, нравственно пал в Галиче – «растлился и занялся исключительно интересами личными». Торжество нового «наряда», суздальского, появившегося на северо-востоке, Григорьев связывает с его отношением к «внешней силе» – татарам [4, с. 14, 19–20].

Это торжество, однако, не означает для него окончательной и повсеместной гибели элементов старого племенного быта: «типовое», коренное, по мысли критика, не может быть уничтожено. Если старый «наряд» исчезает на северо-востоке в княжение Дмитрия Донского, то в Новгороде и Твери он удержался гораздо дольше. А последнее яркое его проявление Григорьев наблюдает в эпоху междуцарствия в начале XVII в., только теперь, в отличие от XII столетия, оно носит болезненный характер. Примечательно, что исторические особенности Новгорода и Твери имеют, согласно Григорьеву, не столько местное, сколько общерусское значение. Они отстаивают старый «наряд», и их обособление он считает невольным и трагическим. Другое дело – Рязань, Полоцк, Галич, которые стояли за свою особность и замкнутость. Впрочем, ошибается тот, кто ожидает от григорьевских «нарядов» и «типов» строгой и однозначной географической локализации. На северо-востоке, где, казалось бы, изначально должен был торжествовать суздальский «наряд», критик наблюдает долгую и широкую распространенность «старого типа», просматривающегося «даже в пригородах, даже в “мезинниих” Володимерцах» и «сияющего в образе Константина Всеволодовича». А восстановление «типа Мстислава Мстиславича», причем «во всей красоте и трагическом величии», по Григорьеву, происходит «в лице Рязанца Ляпунова» [4, с. 31, 13–15, 25, 48; 6, с. 135–137].

Поэтому едва ли в полной мере справедливо замечание Б. Ф. Егорова, что «хорошо знавший русскую историю мыслитель игнорировал *местную* историю», высказанное по поводу сетований Григорьева на скудость «следов истории» в Оренбурге в письме Н. Н. Страхову от 18 июня 1861 г. [13, с. 183–184]. Памятники оренбургской старины, в невнимании к которым упрекает мыслителя его биограф, как видно из приведенного последним довольно подробного их перечня, остались незамеченными Григорьевым в силу специфики его отношения к местной истории. Старина воспринималась критиком лишь как выразительница таких «коренных» и типических местных черт, которые могли претендовать на общерусское значение. Во всяком случае, об отсутствии «следов истории» в Оренбурге не заговорил бы тот, кто игнорирует местную историю в принципе. Сам Б. Ф. Егоров приводит здесь же другое его письмо Страхову, написанное всего спустя полгода после отрицательного отзыва об оренбургской старине, где говорится об испытываемой критиком «жажде старых городов», о «любви-ненависти к Москве, подавившей собою вольное развитие местностей» [13, с. 189]. Очевидно, это письмо в ином свете рисует понимание Григорьевым роли местной истории в судьбах России.

В этой связи особенно любопытны перемены в суждениях критика о том, кого он считал научными оппонентами Соловьева и его единомышленников, начиная с момента написания своего «Взгляда на “Историю России…”». Итак, в начале 1859 г. Григорьев утверждает, что неустанно ведущаяся в русской историографии борьба, в которой «под отвлеченными вопросами науки часто сокрыты плоть и кровь наши», разделяет историков на «два воззрения»: «На языке прежней полемики это был спор о варягах-славянах и варягах-норманнах; несколько позднее к нам – спор родовиков и общинни-

ков». Сам же критик предполагает, что «централизация и племенные начала выражают точнее смысл этой борьбы» [4, с. 2]. Но в целом, признавая «художество» самым совершенным критерием историографической оценки, он не слишком впечатлен достижениями науки русской истории за последние десятилетия: «… в продолжение двадцати пяти или тридцати лет мы ничего не делали, как разбивали карамзинскую форму – и покамест все-таки не создали новой, которая бы имела полноту и цельность». В соответствии с этим, идеал «русского историка-художника», рисовавшийся в воображении Григорьева, представлял собой сочетание таких качеств, которых он, по большей части, не находил у современников, – он должен был «соединить в себе гений Карамзина, критику и труд Погодина, сердце и чутье Венелина, опыт Ходаковского и всю глубокую начитанность Беляева» [4, с. 4–5, 36]. По-видимому, уже ушедшим историкам наш критик отдавал предпочтение перед новыми настолько, насколько выше ставил он гений, опыт, сердце и чутье по сравнению с начитанностью, трудом и критикой.

М. П. Погодин, которого Григорьев хвалит за то, что тот в одной из последних своих работ, посвященных новгородской истории, обратил внимание на яркость и свежесть «типового и коренного» в русском прошлом и настоящем, тем не менее разделяет с Соловьевым его упрек в фатализме. В трактовке междуцарствия К. Аксакова, чьи аргументы против теории «родового быта» безоговорочно принимаются Григорьевым на вооружение, критик, как и у Соловьева, констатирует отсутствие «личностей, типов», что объясняет чрезмерной увлеченностью Аксакова «своею глубокою и пламенною любовью к *коренному* народному». Во всяком случае, «в сухой по изложению, весьма необширной» диссертации Павлова эту сторону смутного времени он находит куда лучше представленной, чем у славянофила [4, с. 31, 11–12, 48]. Наиболее лестной оценки в этой статье Григорьева из всех историков-современников удостоен И. Д. Беляев. Его «различные статьи», по мнению критика, «пожалуй, также могут быть названы историею России, как и главы истории г. Соловьева». При всех своих увлечениях, все же признаваемых Григорьевым, Беляев «смотрит на русскую историю и жизнь не с одной кабинетной точки зрения и не гнет русского развития ни под какую теорию» [4, с. 23, 35–36, 38–39, 45].

Если «Взгляд на “Историю России…”, соч. С. Соловьева» представляет собой исходный пункт историографической рефлексии Аполлона Григорьева, то его рецензия на «Севернорусские народоправства…» Н. И. Костомарова – ее своеобразный итог, который мог бы стать промежуточным, не будь век нашего критика так короток. Впрочем, рецензией на указанную монографию Костомарова это сочинение Григорьева, увидевшее свет в почвенническом «Времени» ровно через четыре года после публикации разбора соловьевской «Истории…», можно считать лишь с очень большой натяжкой. Если имя автора «Севернорусских народоправств…» еще можно изредка встретить на его страницах, то о самом труде не сказано и полслова. Разгадка такого необычного положения дел отчасти содержится в подзаголовке, указывающем, что это – лишь первая из запланированных статей, посвященных костомаровскому сочинению, а также вправе писать критику «по поводу», признаваемом Григорьевым за собой. Но, по свойственной ему стихийности, принципиальной беспланoвости, даже хаотичности, как, на наш взгляд, очень удачно определил Б. Ф. Егоров эту сторону не только творчества, но и всей натуры Григорьева, продолжения разбора сочинения Костомарова не последовало. Основная же часть содержания «статьи первой», оказавшейся, таким образом, и последней, представляет собой результат «автоплогиата» нашего критика, если воспользоваться еще одним удачным выражением Б. Ф. Егорова [13, с. 169–171]. Иными словами, почти вся эта рецензия скомпонована из исторических материалов январского номера «Русского слова» за 1859 г., принадлежащих перу Григорьева: разбора «Истории…» Соловьева и

рецензии на диссертацию Иловайского. Между тем, как собственно историческая часть этих материалов за истекшие четыре года не претерпела сколько-нибудь существенных изменений, – перестановка отдельных фрагментов, замена, опущение или добавка некоторых абзацев, предложений, слов только подчеркивают это, – произошедшая эволюция историографических оценок Аполлона Григорьева налицо.

Эти перемены касаются в первую очередь его отношения к текущему положению дел в русской исторической науке. Последнюю фазу в традиционном для русской историографии противостоянии «двух взглядов» критик связывает уже не с полемикой «родовиков» и «общинников», а со «спором централизаторов и федералистов». Последних он именует школой, «существенно различной во взгляде с школою родовиков или централизаторов». Очевидно, в связи с появлением этой новой школы Григорьев далек теперь от прежнего, безотрадного взгляда на ближайшие перспективы науки русской истории, он считает, что после разрушения «карамзинской формы» «мы… только что начинаем создавать новую, которая может иметь какие-нибудь притязания на полноту и цельность» [7, с. 95, 97–98, 93]. Иное соотношение элементов историографического прошлого и настоящего предстает в переосмысленном критиком идеале «русского историка-художника». Помимо мастерства (не гения! – *В. Б.*) Карамзина и уже знакомых нам достоинств Погодина, Венелина, Ходаковского, Григорьев наделяет теперь этот идеальный собирательный образ еще и «поэтичностью приемов Костомарова, глубиной П. Павлова и народным взглядом Щапова» [7, с. 101–102].

Эти трое последних, «несмотря на существенные различия между собою», и составляют, по его мнению, новую историческую «школу федералистов». «Живучесть народностей, местностей и областных начал» – то, что «смутно предчувствовалось Полевым» и составляло предмет чаяний самого Григорьева, – благодаря деятельности этой школы, «подтверждается все более и более новыми фактами». Погодин и Беляев, которые противопоставлялись им сторонникам «теории родового быта» в 1859 г., спустя четыре года отодвинуты на задний план. Они для Григорьева теперь всего лишь «*предшественники новой школы*» (курсив мой. – *В. Б.*). Только ее участники удостоились его кратких, но весьма выразительных характеристик. Костомаров отмечен как «один из самых блестящих ее представителей». Роль Павлова для критика, по-видимому, исчерпывается тем, что тот был «первым,… высказавшим мысль о значении областных начал в нашей истории» [7, с. 97–102, 129–130]. Правда, в другом месте Григорьев говорит о своем сочувствии к его историческим исследованиям, появлявшимся в «Отечественных записках», – речь идет о статьях Павлова, посвященных земским соборам. Но, бесспорно, будущее «школы федералистов» связывается у него в первую очередь с творчеством А. П. Щапова; по словам критика, его «энергической и многознаменательной деятельности суждено может быть окончательно выяснить органические начала процесса нашей народной жизни» [11, с. 47].

Симпатии критика к воззрениям Щапова отмечались в литературе [15, с. 312–316]. Историк, прибывший в столицу под конвоем после панихиды по расстрелянным в селе «Бездна» крестьянам, завоевал симпатии Григорьева первой же своей петербургской статьей. Ознакомившись с началом щаповской работы о великорусских областях в эпоху смуты, помещенной в октябрьском номере «Отечественных записок», он, не долго мешкая, отправляет из Оренбурга, где находился в ту пору, послание Н. Н. Страхову. В нем буквально последними словами он ругает своего корреспондента, а вместе с ним – всю редакцию «Времени» за то, что те еще «не залучили такого человека, как Щапов, который носит в себе целое, совсем *новое* и вполне народное направление». Об этой статье историка в письме говорится как о «начале фактического оправдания всего того, что думает о Руси и ее истории Островский, что думал и гадательно высказывал я (т. е. Григорьев. – *В. Б.*) по своей чуткости». Она, «да

статья Платона Павлова в новом календаре» (имеется в виду, очевидно, очерк «Тысячелетие России» в академическом месяцеслове) составляют, по мнению критика, эпохи в русской историографии, и не только: «Тут, в этих статьях, новым веет и пахнет». И это новое, считает он, «идет на конечное истребление б… “Вестника”, празднословия западников, суесловия “Дня”, хохлословия Костомарова и буесловия “Современника”» [1, с. 289–290].

В последующем, несмотря на то, что Щапову так и не суждено было стать постоянным сотрудником почвеннических изданий, Григорьев продолжал с большой теплотой и надеждой отзываться о его трудах. Благоприятный случай высказать свое мнение о Щапове ему представился в марте того же 1863 г., когда он начал печатать во «Времени» свою критику по поводу «Севернорусских народоправств» – во всецелом ведении Григорьева, хоть и ненадолго, оказался «Якорь» – небольшого объема периодическое издание. На страницах григорьевских публикаций «Якоря» имя Щапова встречается почти в каждом номере. Так, рассуждая о «фальшивых голосах, звучащих в хоре голосов современников», наш критик противопоставляет им «искренние и высокоталантливые странствия инока Парфения, …возвышенное учение отца Феодора (Бухарева. – *В. Б.*), …народного поэта Некрасова, …честный, хотя горький смех Щедрина», и наряду с ними «смелость мысли Щапова» [5, с. 1].

В другой раз, заведя разговор об отношении критики к драме Островского «Козьма Минин», Григорьев не преминул заметить, что в исторической деятельности Щапова он «так же точно видит «новое слово», как в художественной деятельности» своего любимого драматурга [12, с. 23]. И, наконец, завершая от лица «ненужного человека» свои «плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли», наш критик утверждает: «Все что мы, ненужные люди, некогда гадательно, смутно предчувствовали на счет русского быта и истории, гг. Павлов и Щапов возводят в ясно-сознанные, твердые положения» [11, с. 47]. При всем безусловном предпочтении, которое оказывалось Григорьевым этим двум историкам, он, очевидно, не думал замыкать на них и заподозренном в «хохлословии» Костомарове круг историков, принадлежащих к «школе федералистов».

Неспроста в состав первой статьи разбора костомаровского труда, кроме «Взгляда на “Историю России…”» вошла старая рецензия Григорьева на «Историю Рязанского княжества» Д. И. Иловайского, также опубликованная впервые в 1859 г. в «Русском слове». Тогда эта рецензия была помещена как отдельная, самостоятельная работа. Возвращаясь к оценке этого исследования, «сравнительно с другими трудами мало известного», с высоты пройденных четырех лет он отмечает его принадлежность к той же «школе федералистов» [7, с. 130, 140]. Иловайский публично никогда открыто не высказывал сочувствия федерализму ни в истории, ни в политике. Но будь наш критик чуть лучше осведомлен о ходе занятий этого молодого историка и о строе его мыслей в начале 1860-х гг., в его распоряжении оказались бы веские основания для сближения Иловайского с Щаповым, Павловым и Костомаровым. Так, в статье 1864 г., написанной по поводу «новгородского» тома «Рассказов из русской истории» Беляева, Иловайский, уделив внимание совместным действиям новгородцев, псковичей и полочан, сожалея, заметил, что «федерация между ними не выработалась, оттого немцы и литва взяли потом верх» [14, с. 650]. Еще раньше, в октябре 1862 г., в одном из частных писем он же не без злорадства сообщает о несостоятельности поборников централизации перед лицом неминуемого сближения сословий и народного представительства [19, ф. 27, № 24812, л. 9 об.]. Адресатом этого письма был никто иной, как К. Н. Бестужев-Рюмин, чья бурная публицистическая деятельность этих лет также не миновала пристального внимания со стороны Аполлона Григорьева.

Впрочем, первое значительное выступление Бестужева в историографии – очерк «Современное состояние русской истории

как науки», опубликованный анонимно на страницах «Московского обозрения» – был встречен нашим критиком более чем сдержанно. Ни «полное знание литературы предмета», ни «здравое, вполне чуждое всякой фаталистической теории» понимание современных задач, ни «превосходные оценки Татищева, Щербатова и даже Карамзина», ни «самостоятельное, неподчиненное мнение об истории г. Соловьева» – ничто не в силах смягчить суровый приговор Григорьева. Виной тому – тот «условный тон, тон кружка», в который впадает неизвестный пока критику автор статьи в оценке Погодина. Начиная с этой оценки, статья, по словам Григорьева, «теряет свое безусловное, объективное значение» [9, с. 44–47, 52]. Однако в дальнейшем, по мере того, как ослабевала его старая привязанность к Погодину и росли надежды, связанные со «школой федералистов», Бестужев, расставшийся со своей анонимностью времен «Московского обозрения», вызывал у Григорьева все больше сочувствия. Его «умные статьи», хотя и не помещаются критиком на одну доску с трудами Щапова и Павлова, все же выделяются из содержания мало симпатичных ему, в целом, «Отечественных записок». Правда, при личной встрече молодой историк-журналист не избежал его упреков в слишком объективном взгляде на русскую народность, в том, что она для него, Бестужева, «то же самое, что и всякая другая народность» [11, с. 47; 21, с. 131].

Но эта оговорка едва ли мешала Григорьеву увидеть единомыслие Бестужева-Рюмина с теми, кого он причислял к «школе федералистов», по наиболее принципиальным вопросам русской истории. Примечательно, что главное возражение Григорьева против «формулы централизации», исповедуемой С. М. Соловьевым и его единомышленниками, почти дословно совпадает с критикой «родовой теории», которую в это же время вел К. Н. Бестужев-Рюмин на страницах «Отечественных записок» [3, с. 1–2]. По разным причинам не реализовавшие себя в николаевское время Костомаров и Павлов, а также представители молодого поколения – Щапов, Бестужев-Рюмин, Иловайский – таким видел круг своих потенциальных союзников в исторической науке Аполлон Григорьев в начале 1860-х гг.

Итак, в своих наблюдениях за ходом развития русской историографии времен «великих реформ» Аполлон Григорьев приходит к весьма смелой мысли о рождении новой исторической «школы федералистов», с которой он связывал большие надежды на будущее отечественной исторической науки. Обнаруживаемые им у представителей этой школы попытки преодолеть фатализм, свойственный построениям С. М. Соловьева и его единомышленников, скепсис в отношении централизации, нивелировавшей черты местного своеобразия, отвечали романтическим пристрастиям Григорьева. Но, очевидно, больше всего в работах этих ученых критика привлекала постановка в них вопроса об органических началах русской истории. Эти поиски, сблизившие на рубеже 1850–1860-х гг. Костомарова и Иловайского, Павлова и Щапова, были созвучны самым заветным убеждениям Аполлона Григорьева, отстаивавшего незыблемую, несмотря на драматические перипетии отечественного прошлого и настоящего, прочность основных стихий народной жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Авдеева Л. Р.* Русские мыслители: Ап. А. Григорьев, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов. М.: Изд-во Московского ун-та, 1992. 198 с.

2. Бестужев-Рюмин К. Н. Философия истории и Московское государство // Отечественные записки. 1860. № 11. С. 1–17.

3. *Григорьев А. А.* Взгляд на «Историю России», сочинение С. Соловьева // Русское слово. 1859. № 1. С. 1–48.

4. *Григорьев А. А.* Вступительное слово о фальшивых нотах в печати и жизни // Якорь. 1863. № 1. С. 1–2.

5. *Григорьев А. А.* Материалы к биографии. Пг., 1917. 412 с.

6. *Григорьев А. А.* рец. на: *Иловайский Д. И.* История Рязанского княжества. М., 1858. С. 130–144.

7. *Григорьев А. А.* рец. на: *Костомаров Н. И.* Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. СПб., 1863 // Время. 1863. № 1. С. 92–140.

8. *Григорьев А. А.* рец. на: *Медовиков П.* Историческое значение царствования Алексея Михайловича. М., 1854 // Москвитянин. 1854. № 23. С. 85–99.

9. *Григорьев А. А.* рец. на: Московское обозрение. 1859. Кн. I–II // Русское слово. 1859. № 8. С. 41–54.

10. *Григорьев А. А.* Несколько слов о законах и терминах органической критики // Русское слово. 1859. № 5. С. 1–19.

11. *Григорьев А. А.* Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли. Из записок ненужного человека // Якорь. 1863. № 3. С. 41–47.

12. *Григорьев А. А.* По поводу одного малозамечаемого современною критикою явления // Якорь. 1863. № 2. С. 21–25.

13. *Егоров Б. Ф.* Аполлон Григорьев. М.: Молодая гвардия, 2000. 220 с.

14. *Иловайский Д. И.* Великий Новгород и Белоруссия // Русский вестник. 1864. № 8. С. 645–641.

15. *Карпи Г.* Почвенничество и федерализм (А. П. Щапов и журнал братьев Достоевских «Время») // Уроки Вульфсона. Казань, 2003. С. 310–317.

16. *Колесник И. И.* Исторические взгляды А. А. Григорьева (по поводу критики «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева) // Проблемы историографии и источниковедения истории СССР. Днепропетровск, 1979. С. 49–54.

17. *Носов С. Н.* Аполлон Григорьев об «Истории России» С. М. Соловьева // История и историки. Историографический ежегодник. 1981. М., 1985. С. 222–241.

18. *Носов С. Н.* Аполлон Григорьев. Судьба и творчество. М.: Сов. писатель, 1990. 192 с.

19. Рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом).

20. *Шмурло Е. Ф.* Очерк жизни и научной деятельности К. Н. Бестужева–Рюмина. 1829–1897. Юрьев, 1899. VII, 416 с.

21. *Lazari A.* Filosofia historii A. Grigorjewa // Przeglad Rusycystyczny. 1983. Zeszyt 1 (21). S. 53–67.